

в науке постановка важного и актуального вопроса является весьма сложной задачей, требующей и высокой квалификации, и воображения. Такое сочетание встречается крайне редко, и авторы его успешно демонстрируют.

Научные труды, возбуждающие всеобщее согласие, редко живут долго. Напротив, тексты, пробудившие острые споры, оказывают обычно большее влияние на изучение темы, чем многочисленные штудии, «уточняющие» и «дополняющие» авторитетные концепции. Можно с уверенностью сказать, что рассматриваемая книга вызовет полемику. Её авторы ставят вопросы не только актуальные для профессиональных историков, но и необычайно важные для читателей начала XXI в.: страхи и надежды нашего времени заставляют по-новому задуматься о фобиях и утопиях столетней давности.

К достоинствам данного исследования следует отнести и его «непартийность». К сожалению, до сих пор немало историков, следуя конъюнктуре или по зову души, предлагают читателям монархистские и либеральные, имперские и националистические, неосталинистские и троцкистские, «белогвардейские» и «красноармейские» интерпретации минувшего. Книга же Булдакова и Леонтьевой приближает нас к тому моменту, когда мы сможем сказать, перефразировав известного французского историка: «Российская революция закончилась». Впрочем, время это наступит не скоро.

Уильям Розенберг: Трагедия конкурирующих невозможностей

William Rosenberg (University of Michigan, USA): A tragedy of competitive impossibilities

Важнейшие исследования последних лет, посвящённые революционному периоду истории России, можно условно разделить на четыре типа. Во-первых, это широкий спектр весьма полезных монографий, в которых продолжается разработка тем, давно признанных принципиально важными для осмысления этого времени, таких как состояние российских финансов, железных дорог, аграрного сектора и крестьянства, военно-промышленного комплекса, политических партий и организаций, национальных движений и имперского управления, влияние Церкви и различных общественных и культурных институтов на ход социальных и политических процессов в революционной России, их локальная и региональная специфика и т.д. Эти труды существенно подкрепляют новые сборники архивных документов. В целом, необходимое изучение эмпирического материала по-прежнему притягивает внимание основной массы серьёзных учёных как в России, так и за рубежом³.

Во второй, чрезвычайно интересной, хотя и не столь значительной, группе работ представлены попытки раскрыть новые исследовательские направления, используя последние теоретические изыскания в области исторических и социальных наук. Среди них – публикации Б.И. Колоницкого о роли символов и слухов в формировании представлений о власти, А.Б. Астахова

³Трудно отметить все книги. Многие историки изложили выводы своих последних работ в издательской серии «Russia's Great War and Revolution», подготовленной издательством Slavica Publishers (Bloomington (Indiana), USA), под общей редакцией Э. Хейвуда, Д. Макдональда и Дж. Стейнберга. См. также: Россия и Первая мировая война / Отв. ред. Н.Н. Смирнов. СПб., 1999; Человек и личность в истории России, XIX–XX век / Отв. ред. Н.В. Михайлов и Й. Хелльбек. СПб., 2013; Эпоха войн и революций: 1914–1922: Материалы международного colloquium (Санкт-Петербург, 9–11 июня 2016 года) / Под ред. Б.И. Колоницкого и Д. Орловского. СПб., 2017.

и О.С. Поршневой о настроениях и ментальности русских солдат в годы Первой мировой войны и т.д.⁴ Их авторы, как правило, не принимая, но и не отвергая те или иные теории *per se* (как таковые), тем не менее используют их концептуальные возможности для постановки ранее не изучавшихся проблем, применяя при этом основные (и традиционные) практики эмпирической верификации.

Третий тип публикаций охватывает различные опыты, направленные на достижение нового «великого синтеза» знаний о революционной эпохе. Они по необходимости вынуждены опираться преимущественно на уже издававшиеся и хорошо известные документы и монографии. Но в историографическом смысле эти работы, несмотря на кажущийся «ревизионизм», скорее заново подтверждают, нежели опровергают прежние «большие нарративы». К их числу можно отнести и детальную «Трагедию народа» О. Файджеса, где неизбежность народного бедствия привычно обосновывается политической несостоятельностью Николая II и грубой злонамеренностью амбиций Ленина⁵, и трёхтомник Б.Н. Миронова, в котором из более чем 2 100 страниц текста лишь 25 посвящены непосредственно революции, представленной «побочным продуктом успешной модернизации». Огромную массу статистических и иных сведений Миронов в этом и других своих произведениях приводит для подтверждения знакомого, даже затасканного тезиса, согласно которому дореволюционная Россия твёрдо шла по пути европейской модернизации, что расходится как с выводами лучших позднесоветских и постсоветских работ, так и с наблюдениями зарубежных авторов. Миронов не согласен с тем, «что главной и необходимой причиной этих революций является угнетение и обеднение народа». Напротив, по его мнению, «непосредственная причина российских революций заключалась в борьбе за власть между разными группами элит (курсив Миронова. — У.Р.): контрэлита в лице лидеров либерально-радикальной общественности хотела сама руководить модернизационным процессом и на революционной волне отнять власть у старой элиты»⁶.

На таком историографическом фоне книга В.П. Булдакова и Т.Г. Леонтьевой демонстрирует всё самое лучшее, что только способен предоставить четвёртый, наиболее сложный, вид изучения революционного периода русской истории, который отвергает идеологическую заданность и привычный «модернизационный» телеологизм, искажающий исследуемый предмет, и предусматривает реконцептуализацию прошлого с учётом реалий и обстоятельств, определявших его контекст. Подобно И.В. Нарскому и его коллегам, критически пересмотревшим условия обыденной «жизни Урала

⁴ Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть. К изучению политической культуры Российской революции 1917 года. СПб., 2001; Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010; Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат в период Первой мировой войны (1914 — март 1918 г.). Екатеринбург, 2000; Поршнева О.С. Социальное поведение солдат русской армии в годы Первой мировой войны // Социальная история. Ежегодник 2001/2002. М., 2004; С. 355—398. Астахов А.Б. Русские солдаты и Первая мировая война: психологическое исследование военного опыта // Там же. С. 399—426; Астахов А.Б. Пропаганда на Русском фронте в годы Первой мировой войны. М., 2012; Астахов А.Б. Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: военный опыт и современность. М., 2014.

⁵ Figs O. A People's Tragedy. N.Y., 1997.

⁶ Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну. В 3 т. Т. 3. СПб., 2014. С. 732—733.

в катастрофе» Гражданской войны⁷, Булдаков и Леонтьева рассмотрели громадный массив документов, отражающих как субъективные характеристики, так и объективные параметры событий 1914–1918 гг. При этом они стремились показать, как отдельные люди и целые сообщества пытались рационализировать былые ужасы в поисках «лучшего» прошлого для того, чтобы чувствовать себя более комфортно в настоящем и мечтать о «достойном» будущем (с. 5). Ими показан механизм исторического перевоображения невообразимых физических и душевных страданий времён войны и революции — как в целях их осмысления, так и для сокрытия реально пережитого опыта. При этом проделан впечатляющий анализ позиций ведущих фигур и многомерных процессов.

Как и в других монографиях Булдакова, *смута* и *хаос* выступают в книге основными факторами русской революции⁸, а её катастрофические антигуманистические результаты объясняются не столько политикой или идеологией, сколько тем контекстом, в котором она развивалась, и в том числе — воздействием на людей эмоциональных и физических лишений военного времени. Булдаков и Леонтьева проделали особенно основательную работу по демифологизации многих «трюизмов», относящихся к социально-экономической и политической истории революционной России. Столь дерзкая, удивляющая своими масштабами концепция практически не имеет аналогов в литературе.

Авторы книги выводят на новый уровень прежние дискуссии о патриотизме первых месяцев войны⁹. Они стараются оценить воздействие на общество широко распространённого ощущения её «безнадёжности» и показать, насколько важной стала в то время трансформация культурных элементов «патернализма» в кризис коллективной зависимости подданных от государства, как менялось субъективное восприятие церковных обрядов, национальной идентификации, а также международных обязательств России — как имперских, так и демократических. В их изложении новые интерпретации многоукладности российской экономики удачно сочетаются с описанием сложностей фискальной политики в условиях разрушительной инфляции¹⁰, анализ транспортной проблемы — с выявлением материальных условий жизни и эмоциональных переживаний железнодорожников. Говоря о деятельности политических партий на общенациональном и местном уровнях, Булдаков и Леонтьева констатируют: «То, что в России называется политикой, в сущности, является сгустком эмоций, которые пребывают в спячке до того момента, пока не зашатается “всевидящая” власть» (с. 344). Однако то обилие острых и сложных вопросов, которое можно обнаружить в монографии, является признаком

⁷ Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001; Нарский И.В. Конструирование мифа о гражданской войне и особенности коллективного забывания на Урале в 1917–1922 гг. // *Ab Imperio*. 2004. № 2. С. 211–236.

⁸ Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. Изд. 2. М., 2010; Булдаков В.П. Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг. Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М., 2010; Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930. М., 2012.

⁹ Подробнее см.: Jahn H. Patriotic Culture in Russia during World War I. Ithaca; N.Y., 1995; Костяев А.И. Цивилизационный процесс и патриотическое сознание в России: очерк новейшей историографии. М., 2008; Патриотизм как идеология возрождения России: Сборник статей и докладов / Отв. ред. А.И. Костяев, Т.С. Гузенкова. М., 2014.

¹⁰ Подробнее см.: Беляев С.Г. П.Л. Барк и финансовая политика России. СПб., 2002; Gatrell P. Russia's First World War. A Social and Economic History. L., 2005.

исследования высшего уровня в любой историографической традиции. А неизбежные при этом дискуссии лишь усиливают ценность их работы. «Война, породившая революцию», несомненно, станет важной вехой в переосмыслении революционного опыта России.

Читая книгу Булдакова и Леонтьевой, нельзя не задуматься о том, можно ли научно обосновать влияние коллективных эмоциональных и психологических установок на ход событий? В контексте позитивистских традиций русской и советской историографии, согласно которым история воспринимается как наука, а не искусство, такая постановка вопроса звучит вызывающе¹¹. Выражение гнева, благоговения или страха, конечно, легко увидеть в текстах и действиях людей начала XX в. Но, как тонко подметили Булдаков и Леонтьева, в 1914 г. массовые (внезапные?) проявления русского патриотизма, любви и поддержки царя и отечества далеко не в полной мере отражали истинные чувства манифестантов. Как утверждал У. Рэдди, сама по себе вовлечённость в «патриотические» акции зачастую позволяет их участникам реально *испытать* те эмоции, которые они демонстрируют. Точно так же рабочие или крестьяне, участвуя в выступлениях против фабрикантов или помещиков, могли действительно ощущать выражаемый ими гнев¹². Можно также сказать, что патриотически настроенные демонстранты или солдаты, кричащие «Ура!», когда они бросаются из окопов в атаку, создают более широкие «эмоциональные пространства», а не просто следуют мимолётному порыву¹³. Сложность этой проблемы не делает её, однако, исторически маловажной. Со своей стороны, авторы книги доказывают, что знаки и символы «патриотической культуры» во время войны способны ввести в заблуждение, особенно людей, находящихся у власти. Таким образом, выходит, что царский режим рухнул отчасти потому, что «эмоциональные поля», призванные его поддерживать, никогда не были столь сильными, как казалось, или же могли легко растворяться в противоположных им чувствах неудовлетворённости и гнева по отношению к тем, кто считался виновником растущих неурядиц, разочарований и страхов.

Можно ли доказать это эмпирически? Вряд ли удастся это сделать историкам, анализирующим человеческие переживания только по документам. Не всегда это получится даже у историков-антропологов, имеющих возможность

¹¹О наиболее важных недавних дискуссиях и исследованиях, посвящённых истории эмоций, в зарубежной литературе, см.: *Rosenwein B.* Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca; N.Y., 2006; *Rosenwein B.* Worrying about Emotions in History // *The American Historical Review*. Vol. 107. 2002. № 3. P. 821–845; *Kagan J.* What is Emotion: History, Measures, and Meaning. New Haven; L., 2007; *Plamper J.* Geschichte und Gefühl: Grundlagen der Emotionsgeschichte. Siedler, 2012; *A History of Emotions 1200–1800* / Ed. by J. Liliequist. L., 2012; *Fear: Across the Disciplines* / Ed. by J. Plamper and B. Lazier. Pittsburgh, 2012; *Facing Fear: The History of an Emotion in Global Perspective* / Ed. by M. Laffan and M. Weiss. Princeton (N.J.), 2012. См. также: *Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe* / Ed. by M. Steinberg and V. Sobol. DeKalb (Ill.), 2011; *Plamper J.* The History of Emotions: An Interview with William Reddy, Barbara Rosenwein, and Peter Stearns // *History and Theory*. Vol. 49. 2010. № 2. P. 237–265; *Language and the Politics of Emotion* / Ed. by C. Lutz and L. Abu-Lughod. Cambridge, 1990; *Lyon M.L.* Missing Emotion: The Limitations of Cultural Constructionism in the Study of Emotion // *Cultural Anthropology*. Vol. 10. 1995. № 2. P. 244–263; *Beatty A.* How Did it Feel for You? Emotion, Narrative, and the Limits of Ethnography // *American Anthropologist*. Vol. 112. 2010. № 3. P. 430–443.

¹²*Reddy W.M.* The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge, 2001.

¹³Дискуссию об этом см.: *Rosenberg W.* «Reading Soldiers» Moods: Russian Military Censorship and the Configuration of Feeling in World War I // *The American Historical Review*. Vol. 119. 2014. № 3. P. 714–740.

брать интервью и лично расспрашивать людей о прошлом. В обоих случаях подлинные эмоции минувших лет могут быть отфильтрованы и представлены более «респектабельно» (к примеру, в случае страха, испытанного солдатами), либо признаны «недостойными воспоминаний». Самые дотошные учёные сумеют только убедительно показать (как это и делают Булдаков и Леонтьева), что эмоциональная атмосфера, в которой протекали события войны и революции в России, существенно воздействовала на их исход. Между тем большинство историков Первой мировой войны по-прежнему предпочитают описывать эмоционально насыщенные процессы и эпизоды в чисто объективистских терминах, игнорируя цифры «потерь», как будто они не имели значения и вовсе не воздействовали на обстановку в стране. Здесь нет середины, и приходится выбирать: либо эмоции значат что-то в истории, либо нет. Можно критиковать Булдакова и Леонтьеву за то, что они не в полной мере раскрыли методологические трудности, возникающие при аргументации их позиции, но не в неспособности её обосновать. В данном случае игнорирование эпистемологических и методологических проблем никоим образом не снижает ценности проделанной работы для действительно необходимого выявления возможной, пусть эмпирически и не установленной, исторической роли эмоций. Это особенно важно для понимания обстоятельств таких великих «поворотных точек», как «революционные ситуации» 1914–1918 или 1989–1993 гг.

Всматриваясь в конфликты, возникавшие в военное время между правительством и «общественностью», Булдаков и Леонтьева стремятся определить, что выражалось в них: «политика или агония властного начала?» (гл. 6). Авторы настаивают на том, что «в ходе войны *вся* российская партийно-политическая система вольно или невольно стала работать против существующего режима», но это происходило «вопреки субъективным намерениям большинства партийных лидеров, искренне рассчитывающих на достижение национального единства перед лицом врага». Таким образом, «сама власть провоцировала людей, далёких от революции, на самоубийственный образ действий» (с. 345).

Но всё же выражение «самоубийство» не отражает всей сложности действий, совершавшихся тогда в политической жизни. Необходимо отделять институционализированную форму власти (authority), указывающую на признанную легитимность правящего режима, и собственно власть (power), как наличие силы и возможности её применять. Либералов различного толка, а также умеренных социалистов серьёзно беспокоило их промежуточное положение между легальной властью и силой масс. И это беспокойство лежало в основе того, что авторы называют «самоубийственным образом действий». Политики самых разных убеждений повсюду считают допустимыми «законные» протесты. Между тем и женщины в очередях, требовавшие хлеба, и рабочие, мирно настаивавшие на повышении заработной платы, столкнувшись с угрозой применения против них избыточных и смертельно опасных действий, могли моментально превратиться в необузданную силу, что было особенно заметно летом 1915 г. Чувства гнева, тревоги и страха (среди прочего) зажгли пламя как революционного разрушения, так и созидания. Нужно в большей степени, чем к этому бывают склонны авторы, учитывать, что существовала тонкая дилемма, которая в революционное «смутное время» заставляла просыпаться по ночам многих чутких и ответственных политических деятелей, как входивших в сменявшие друг друга правительства, так и остававшихся вне их.

Трудно вообразить, что В.Г. Громан, А.И. Шингарёв, А.И. Коновалов, А.Н. Потресов, П.Б. Струве или П.Л. Барк не пытались честно справиться с проблемами, толкавшими царскую, а затем и революционную Россию к краху. Громан в Комиссии по изучению современной дороговизны настойчиво указывал на опасности, связанные с неконтролируемым ростом стоимости жизни. С.В. Рухлов и Н.В. Некрасов, каждый по-своему, неудачно пытались преодолеть железнодорожный кризис. М.И. Скобелев буквально впал в отчаяние, не сумев остановить разрушительные конфликты в промышленности, несмотря на создание в возглавляемом им первом в России Министерстве труда специального отдела для урегулирования взаимоотношений между рабочими и предпринимателями. Участники Демократического совещания и Предпарламента в сентябре—октябре 1917 г., стремясь предотвратить надвигающуюся катастрофу, упорно твердили об усиливавшемся хаосе. Есть разница между безнадежными потугами неосведомлённых и незадачливых деятелей и бессилием хорошо информированных и знающих людей, попросту не имевших полномочий или средств, необходимых для решения возникавших проблем. Иными словами, тупиковость различных ситуаций — от продовольственного снабжения и стабилизации финансов до брожения на национальных окраинах, рабочих выступлений, крестьянских требований земли, а также — падения боеспособности армии и почти всеобщего ожидания скорого мира, — с конца февраля 1917 г. была обусловлена такими фундаментальными противоречиями, которые исключали какую-либо единую линию поведения как у «правых» политиков, так и у их противников. Можно сказать, что это был не столько «самоубийственный», сколько «немогущий» образ действий: управление без авторитета легальной власти или без силы.

Неясно, было ли это связано только с войной. Как убедительно показали Булдаков и Леонтьева, давление на власть объяснялось ухудшением экономической ситуации, коллективными и индивидуальными лишениями, а также отсутствием эффективных средств правовой защиты, программ посредничества в социально-экономических конфликтах и регулирования дефицита, инфляции и распределения товаров первостепенной важности. Естественно, безудержные и ничем не ограниченные электоральные практики, составившие суть новой формы демократии в революционной России, не могли обеспечить решения проблем. Охлократия, безусловно, проявила себя в 1917 г. так, как это обычно и происходит во времена великих социальных и политических потрясений. Однако исход событий определялся не насилием толп, а провалом попыток демократически удовлетворять повседневные насущные потребности. По сути, провалились все подобные опыты на всех уровнях: от фабрично-заводских и сельских собраний, городских и районных советов, дум и земств до самых высоких общенациональных совещаний и представительств. Взамен демократические выборы помогли возобладать наиболее нереалистичным и радикальным требованиям из выдвигавшихся тогда альтернатив. И это было не столько проявлением охлократии, сколько выражением всеобщих чувств по отношению к неразрешимым проблемам и ухудшению условий жизни. Опять же, состояния тревоги, страха, гнева, разочарования, отчаяния и иные субъективные побуждения, которые легко могли привести к насилию и беспорядкам, лежали в основе различных политических махинаций, порочивших даже самые лучшие намерения политиков.

Булдаков и Леонтьева проницательно связывают сложный комплекс культурных проявлений патернализма с усиливающимся давлением обстоятельств на революционное государство, заставлявшим его вмешиваться в социальную, экономическую и политическую жизнь России. Коренящийся в православных традициях, семейных и общественных отношениях, структурах аграрного производства, а особенно в авторитарных методах царского управления патернализм формировал ожидания, значительно превосходившие реальные возможности власти. При этом и до революции местные администраторы различного уровня то и дело нарушали распоряжения центра, а в центре редко были достаточно хорошо осведомлены о ситуации на местах, больше заботясь об опасностях политического инакомыслия и социальных волнений, нежели о нуждах населения. Вместе с тем многие влиятельные официальные лица остро ощущали риски, связанные с включением общества в обеспечение его насущных потребностей, видя в этом опасность для самодержавия, стабилизировавшего, по их мнению, основания режима. Характерно, что реакция в такой же степени была обусловлена эмоциональными переживаниями, как и ожидание перемен.

Под давлением обстоятельств военного времени царизм усиливал традиционный патернализм и увеличивал бытовую и эмоциональную зависимость людей от государства, в какой-то мере предвосхищая то, что составит ядро коммунистической диктатуры: всеильное государство, призванное удовлетворить все справедливые социальные нужды. Это во многом объясняет не только то, почему и как война и революция привели к установлению большевистской власти, но и то, как большевикам удалось сравнительно быстро потушить пожар разрушения и затмить последствия катастрофы празднованиями. Нельзя не согласиться с Булдаковым и Леонтьевой в том, что русская революционная политика представляла собою трагедию конкурирующих невозможностей.

Фёдор Гайда: Обратная сторона русского мессианства

Fyodor Gayda (Lomonosov Moscow State University, Russia):

The reverse side of Russian messianism

Фундаментальное и новаторское исследование В.П. Булдакова и Т.Г. Леонтьевой посвящено восприятию Первой мировой войны в российском обществе и тем психологическим процессам и явлениям, которые были с ней связаны и до сих пор ещё мало изучены. Страна переживала тогда неслыханные прежде изменения: индустриализацию, урбанизацию, кризис сословного строя, революционные перемены в политической сфере. Массовое сознание напоминало о себе всё сильнее и сильнее, сталкиваясь в 1914—1918 гг. с кризисом как традиционных, так и — несколько позднее — вестернизаторских, модернизационных стереотипов. Своеобразным символом происходившего стала императрица Александра Фёдоровна, пострадавшая и за стремление быть слишком русской — её обвинили в связи с «сибирским мужиком», и за попытку изменить образ недостижимого величия, служа вместе с дочерьми в лазарете. То и другое пришлось не по вкусу образованной публике (с. 408—409).

Авторы книги придерживаются «заезженного», но совершенно верного подхода, пропуская через человеческую природу все исторические явления и процессы (с. 7). Только так и возможно понять перспективы их дальнейшего развития, особенно если речь идёт о переломном времени.